

В. А. ТУНИМАНОВ

ДОСТОЕВСКИЙ И ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ

Достоевский и Успенский — писатели, сформировавшиеся в несхожей обстановке, тяготевшие к враждующим литературно-общественным лагерям, творившие в различных жанрах. Роман — ведущий жанр Достоевского; очерк — стихия Успенского, поэзия и проза его творчества.¹ Впрочем, Достоевский отнюдь не чуждался фельетонной работы, а у Успенского не редкость и «чисто» беллетристические произведения, подлинные шедевры — назовем хотя бы «Парамона юродивого».

Достоевский и Успенский современники, и не составляет большого труда обнаружить у них множество тематических совпадений. Но Б. И. Бурсов безусловно прав, предостерегая от легковесных и произвольных аналогий: «Отдельные замечания, соображения и сопоставления, как бы интересны ни были они, ничего не решают».²

Г. Успенский или открыто полемизировал, или прямо брал близкие ему отдельные мысли Достоевского, стараясь при этом не замечать, в какой связи они находятся с целым. Чаще всего Достоевский исполнял в творчестве Успенского роль фермента, оживляющего мысль писателя, побуждающего к подысканию ответа. Исключения, правда очень существенные, — мысли Достоевского о свойствах русского сердца и высокой миссии русского скитальца-интеллигента. И они говорят о том, что, определяя воз-

¹ Даже Л. К. Ильинский, автор статьи, в которой тщательно выявляются объединяющие писателей мотивы, заканчивает сопоставительный анализ библейским сравнением Марфы и Марии, отводя Успенскому роль Марфы (Ильинский Л. К. Ф. М. Достоевский и Гл. Ив. Успенский. — В кн.: Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Пб., «Мысль», 1922, с. 327—358).

² Бурсов Б. Об изучении реализма. — В кн.: Проблемы реализма русской литературы XIX века. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 13. Ср. с критическими замечаниями А. С. Бушмина в кн.: Бушмин А. С. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л., «Наука», 1969, с. 155.

действие Достоевского на Успенского как отрицательное, как то, от чего отталкивалась и с чем боролась мысль писателя, видя, если можно так выразиться, лишь одно «обратное» движение, мы далеко не исчерпываем многообразие контактов Успенского с творчеством Достоевского. Отрицание и полемика, как ведущие черты в восприятии Успенским романов и публицистики Достоевского, сочетаются с влечением и солидарностью по ряду вопросов. Методологически неверно разделять и механически противопоставлять эти, казалось бы, взаимоисключающие тенденции: налицо сложное взаимодействие отрицания-приятия, несогласия-согласия, отталкивания-притяжения.

Немаловажный оттенок в позицию Успенского вносит и глубоко личное отношение писателя к творцу «Бедных людей» и «Бесов». Нетрадиционное и оригинальное в интерпретации Достоевского и в полемике с ним у Г. Успенского тесно переплетено со взглядом уже сложившимся (Белинский — Добролюбов) и мнениями (как групповыми, так и частными) писателей и критиков, близких к «Отечественным запискам»: на позицию Успенского оказывала сильное влияние литературная и политическая репутация Достоевского, бытовавшая в демократических кругах общест-венности 70—80-х годов. Наибольший интерес представляет как раз то, что шло в разрез с этой репутацией: выявлению некоторых индивидуальных особенностей восприятия Г. Успенским творчества Достоевского и посвящена настоящая статья.

Мы не располагаем высказываниями Достоевского о произведениях Успенского.

Достоевский даже не заметил (или, может быть, постарался не заметить) непосредственно его касавшегося очерка «Пушкинский праздник». Правда, в библиотеке писателя зарегистрирована одна книга Успенского, но отношение к ней Достоевского нам неизвестно.³ Сохранилась краткая запись программы чтения для себя, в которой Г. Успенский соседствует с Энгельгардтом: «Прочсть — Иванова — Сергеевича — и т. д. — Энгельгардта из деревни».⁴ И еще почти не поддающееся расшифровке упоминание Глеба Успенского в набросках к речи Фетюковича в «Братьях Карамазовых»: «Фетюкович (Во 100 раз преувеличено Глеб Успенский)».⁵

Высказывания Г. Успенского о Достоевском дают материал несравненно более богатый и разнообразный. Успенский воспринимал Достоевского как писателя из другой эпохи — 40-х годов, как литературного генерала, художника чрезвычайных размеров в отличие от него, публициста, которому не до беллетристики.

³ Глеб Успенский. Разоренье. Старьевщик. Идиллия. Зарок не пить. СПб., 1876.

⁴ Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Л., Изд-во АН СССР, 1935, с. 81.

⁵ Там же, 299.

Известно по очерку Короленко очень личное мнение Успенского о произведениях Достоевского; не менее интересна «больная» интонация и выразительная мимика, так великолепно переданные Короленко: «До сих пор я помню выражение лица, с каким он произносил эти слова: „страданье“, „горе“, „подлость человеческая“ — в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице...»⁶

С впечатлениями Короленко перекликаются воспоминания В. М. Михеева, которому Успенский говорил: «Достоевского я прямо боюсь: боюсь его глаз, измученных и мучительных».⁷ Объединив Тургенева и Достоевского, Успенский поясняет причины боязни: «Для нас, людей иного воспитания, кротких и покорных, какими нас создали все условия, та и другая стороны: чистая, отвлеченная красота и проповедь безусловного отречения от текущих злоб дня, в которой чувствуется инстинктивная склонность покорять людей,⁸ соединенная с недоступною для нас уверенностью в своей силе, в своей правоте, — для нас та и другая черты прямо не восприимлемы: они чужды совсем натуре нашей, и мы от них чураемся: мы для этого слишком уже совестливы и слишком робки».⁹

Вот эта чувствуемая Успенским уверенность Достоевского в собственной силе, темперамент проповедника и пророка, аскетизм в вопросах высшей этики отталкивали и привлекали Успенского, частично даже покоряли его: и этому могучему внешнему влиянию он стремился противиться вплоть до сознательного непрочтения новых произведений писателя.

1

Лично с Достоевским Успенский не был знаком, но присутствовал при величайшем ораторском триумфе Достоевского. На Пушкинский праздник он пришел известным писателем, автором нашумевших, вызвавших бурную полемику деревенских и городских очерков. Услышал Успенский призыв Достоевского поработать «на родной ниве» и высокую оценку писателем миссии русского скитальца-интеллигента. Проповеднический страстный тон и проникновенные слова о скитальце произвели большое впечатление на Успенского и выразились в его очерке «Пушкинский

⁶ Короленко В. Г. Собрание сочинений в десяти томах. М., Гослитиздат, 1955, т. 8, с. 18.

⁷ Ветринский Ч. Гл. Успенский в его переписке. — «Голос минувшего», 1915, март, с. 219.

⁸ Ср. с тонким наблюдением А. В. Корвин-Круковской: «Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя: при нем я никогда не бываю сама собою» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. I. М., «Худож. лит-ра», с. 361).

⁹ Ветринский Ч. Гл. Успенский в его переписке, с. 219.

праздник», вызвавшем крайнее раздражение Салтыкова-Щедрина, попросившего Михайловского специально разъяснить читателям журнала подлинное отношение редакции к речи Достоевского.¹⁰

Ответ Достоевского Градовскому и суровая критика Щедрина побудили Успенского еще раз вернуться в «Секрете» к Пушкинской речи и обратиться к «Дневнику писателя», где особое внимание Успенского вызвали статьи об «Анне Карениной».

Успенский не мог не заметить того огромного символического значения, которым отмечена в публицистике Достоевского фигура некрасовского Власа. Тем более что и в творчестве самого Успенского до «Секрета» интерпретация Власа была близка к трактовке Достоевского. В рассказе «Хочешь — не хочешь» Успенским выведен кающийся грешник, добровольно отрекшийся от прежней несправедливой жизни. Он не мученик, не святой, не подвижник, в его облике вообще нет ничего героического; им руководит элементарная человеческая потребность жить просто и по совести. Этот «Влас» Успенского обыкновенен и прост, и его отрешение от грехов естественный поступок, в котором нет ничего символического.

В очерках «Из памятной книжки» Успенский уже прямо называет некрасовского героя, — и здесь он эмблема, символ обращения человека к истине, пробуждения у него совести, жажды искупления (VI, 28, 29).¹¹ Движение интеллигентного человека недавнего прошлого (60-е годы) к добру и правде Успенский сравнивает с преображением Власа. Косвенно тема Власа отразилась и в рассказе «Парамон Юродивый», занимающем столь же важное место в творчестве писателя, как и маленький рассказ «Мужик Марей» — в творчестве Достоевского.

«Мужик Марей» не отрывок, не эскиз в связи с чем-то, не случайное «беллетристическое пятно» в «Дневнике писателя», он не противостоит предыдущим «скучным» публицистическим *profession de foi*, но сохраняет в то же время самостоятельное художественное значение. От современных забот и тревожений автор уходит в воспоминания, ища там «утешение» в нынешних своих тревогах. Чередуются светлые и мучительные картинки: лес детства и каторга молодости; это его жизнь в «снах», где «слышатся» запах деревенского березняка и буйные крики товарищей по острогу. Вспоминается уединенная встреча с мужиком Мареем, утешившим и обласкавшим его: «Встреча была уединенная, в пустом поле, и только бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще

¹⁰ См.: Михайловский Н. К. Сочинения, т. IV. Пб., 1897, с. 910—924, 940—958.

¹¹ Здесь и далее цитируется издание: Успенский Г. И. Полное собрание сочинений в 14 томах. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940—1954.

и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе» (XI, 191). Среди набросков к рассказу есть следующие слова: «Но люди гуманисты, я знаю это с самого детства и опять-таки расскажу один детский анекдот».¹² И это утешающее, благостное знание Достоевский получил в раннем детстве от мужика Маррея, встреча с которым для него выше пессимистических предсказаний и реальнее оптимистических риторических упований.

«Парамон Юродивый» — тоже детское воспоминание, горькое, укоряющее, неизлечимое, но не только: напоминающее и о высоких человеческих стремлениях, о возможности другой, праведной и чистой жизни, а не существования в вечном страхе, с постоянным сознанием какой-то тягостной и огромной вины. Герой Успенского так же прост, обыкновенен, реален, как и мужик Маррей. Парамон — «самый настоящий крестьянский, мужицкий святой человек», который, подобно Власу, «повинуясь гласу и видению, оставил дом, жену, двух детей и ушел спасать свою душу...» (VI, 94). Спасался он примитивным и простодушным способом, «цивилизация» почти не коснулась его. И все же: «Корявый, необразованный, невежественный Парамон, с своей странной теорией спасения посредством физических страданий, этот простак святой в такие минуты припоминается мне как одно (боюсь сказать — единственное) из самых светлых явлений, самых дорогих воспоминаний» (VI, 95—96). Парамон внес в затхлый провинциальный мирок «радость чего-то нового, незлого, светлого и высокого!» (VI, 99). «Примитивный» Парамон приходит в обитель страха и животных интересов, застоя, где на каждом углу все кричало о неизбежности для человека «пропасть», сгинуть. Простодушный святой без паспорта уже одним инстинктивным, естественным и полным отрицанием лжи и страха вознесен над другими; более того — и это самое главное в его явлении — возносит так же естественно и просто тех, кто соприкасается с ним.

«Секрет» знаменует в творчестве Успенского резкий поворот (в том числе и в теме Власа), сильный скептический уклон; очерк буквально пронизан недоверием ко всякого рода риторике и символическим; пророчествам, предсказаниям и вообще «словам» противопоставляется задача выяснения подлинного, реального положения дел на родной ниве. Полностью согласившись с тем, что Достоевский пишет о Европе, Успенский совершенно неудовлетворен сказанным о России: «На каждом шагу задаешь себе вопросы: какую-такую злобу дня разрешу я, если, подобно Власу, буду, с открытым воротом и в армяке собирать на построение храма божия? Если ту же, какая в Европе, то почему же там дело должно кончиться дракой, а не Власом? Если другую какую-нибудь, русскую злобу, особенную, то какую именно?» (VI, 440—441).

¹² ЦГАЛИ, ф. 212. I. 15.

И Влас Некрасова в интерпретации Достоевского, и «родная нива» — тоже символ спасительный и испытательный — вызывают недоумение и порождают вопросы. «Смиренно поработай на родной ниве!» — сказано в самом центре всеобъединяющей речи. Вот это-то слово «нива» и есть, по нашему мнению, корень зла. Что такое, в самом деле, означают слова «родная нива» (просим пристальнее вникнуть в смысл этих слов). Положа руку на сердце, выражение это (как думаем мы) ничего существенного, определенного не означает и означать не может. А между тем, на этой-то ничего не означающей ниве приглашают работать, да притом еще смиренно, и вокруг этой смиренной работы на ниве вертится все громадное, всечеловеческое знание русской страдальческой души, все ее всемирно умиротворяющее значение» (VI, 436).

Мы специально выбрали такой отрывок из «Секрета», в котором специфически «лагерный» оттенок полемики если и чувствуется, то разве лишь в некоторой резкости тона. Впрочем, полемика Успенского вообще редко носит четкий «лагерный» характер; Успенский, прекрасно владеющий искусством иронии, пожалуй, самый трезвый и «внеличный» полемист в русской литературе. Он как бы улавливает неточности, недомолвки, неясность, неопределенность чужих высказываний, и сам затем пытается поднять непосильную ношу, с которой не смогли совладать даже великие. Не изобличение ошибочных взглядов, не стремление доказать неправоту противника, в чем-то уязвить его, составляют суть полемики Успенского, а выяснение истины, реального, правдивого и не затуманенного аллегориями смысла явлений.

Во многом аналогичные вопросы и эмоции возникают у Успенского не только в связи с Пушкинской речью Достоевского, но и при чтении некрасовских строчек: «„Ты, — сказал покойный Некрасов, — и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная...“. Признаки верные, но, чтоб эти признаки не были пустыми словами, надо же, наконец, хоть какой-нибудь определенный ответ: в чем именно могучая? в чем именно бессильная? в чем обильная и в чем убогая?» (VIII, 160).

Сохраняя высший пиетет к Герцену, Успенский тем не менее выделяет кажущиеся ему неясными слова и затем выписывает их отдельно, ставя перед собой, как исследователем природы и законов народной жизни, один огромный и общий вопрос: «Но повторять те же таинственные слова: «сила», «та, таинственная сила, которая», «дух, который непоколебим», «сила, которая устояла»... в настоящее время нам кажется уже решительно невозможным. Так или иначе нам надо знать, что *это такое*, что не проймешь ни палкой, ни кнутом, что вне форм и против форм сберегло русский народ и его веру, живой ум, открытое лицо и т. д.» (VIII, 79).

Менее всего это полемика с Герценом, а если и полемика, то, скорее, с современниками, среди которых видное место занимает Достоевский. Но важно даже и не это, — а чрезвычайно показательное для Успенского недоверие к риторике, восклицаниям, таинственным словам, в которых есть все, кроме точности, определенности и ясности — понятий, в первую очередь ценимых Успенским, решившимся «спуститься в глубь мелочей».

И, пожалуй, именно здесь уместно заметить, что статьи Успенского о Пушкинской речи почти всецело привлекали внимание и публицистов и исследователей лишь, так сказать, с узко полемической стороны их содержания, причем Успенский рассматривался в каком-то общем смысле, как представитель прогрессивно настроенной части русской интеллигенции. Но не этим только интересны статьи Успенского и спор писателя с Достоевским, завершение которого обычно видят в «Секрете», очерке, воспринятом Щедриным как самооправдание увлекшегося сотрудника «Отечественных записок».¹³

Возьмем во внимание одно немаловажное обстоятельство: полемика Успенского с Достоевским непосредственно предшествует таким известнейшим произведениям, как «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями». В «Секрете» Успенский не только ставил окончательную точку в полемике с речью Достоевского, распутывая себя, но — и что существеннее — разрабатывал программу своей будущей деятельности, программу исследования народной жизни. «Секрет» завершают многообещающие слова: «...прежде нежели рекомендовать смирение как наилучшее средство для этого труда, надо заняться с возможной внимательностью изучением самой нивы и положения, в котором она находится, так как, очевидно, только это изучение определит и „дело“, в котором она нуждается, и способы, которые могут помочь его сделать. А прорицать можно и после» (VI, 445).

Вряд ли будет преувеличением сказать, что Пушкинская речь и послесловие к ней Достоевского, явились одним из решающих факторов, толчком, побудившим Успенского вплотную заняться черной работой ради того, чтобы, хотя бы в самых приблизительных чертах, определить то, что спасло законы той нивы, где необходимо было поработать, подлинную сущность тех Власов, в которых предлагалось обратиться, — словом все, что утопало в бесконечных прорицаниях, оставаясь загадкой и тайной. А ребусами и шарадами, предлагавшимися Достоевским и другими, риторическими утверждениями (Некрасов) и неопределенно-обобщенными формулами (Герцен) Успенский удовлетвориться не мог. В очерке «Секрет» он расставил многочисленные вопросы, штрихами на-

¹³ См.: Н. Щедрин. Полное собрание сочинений, т. XIX, кн. 2. М., ГИХЛ, 1939, с. 161—162.

метил и программу ближайших произведений, принесших ему славу крупнейшего изобразителя и исследователя народной жизни. Успенскому удалось то, что не смогли отобразить и выразить первые умы России: его очерки о земле и людях земли давали одновременно такую объемную и подробную картину состояния ведущего класса страны — земледельцев; его взгляд, проникший до корней и истоков, до экономических, исторических и нравственных первопричин и последствий, был настолько глубок и оригинален, что здесь он поистине был уникален и в этом смысле почти одинок. Кропоткин это подметил очень точно: «Он представляет сам по себе отдельную литературную школу, и я не знаю ни одного писателя во всемирной литературе, с которым можно было бы его сравнить».¹⁴

Известны выводы, к которым пришел Успенский, взявшись разрешить загадку, открыть тайну крестьянского существования, определить ту силу, что «выше общины и государственного могущества». Он все свел к земле, к ее суровой и благодатной, жестокой и необходимой власти над крестьянином; предельно заострив мысль, вывел все существование крестьянина из вековой связи его с ржаным полем, обнаружил в сфере народной жизни простейшие элементы взыскуемой им гармонии. Здесь, у самых корней, он открыл тайну народной жизни и возвестил ее, одновременно просто и торжественно: «А тайна эта поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива, и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, могущественно-сильна и детски-кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохранит свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит *власть земли*, покуда в самом корне его существования лежит *невозможность* послушания ее *повелений*, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют его существование» (VIII, 25).

Удивительно, что Достоевский обошел молчанием статьи Успенского о Пушкинской речи. Не менее удивительно и то, что Успенский совершенно не заметил в творчестве Достоевского как раз тех мотивов, что особенно должны были быть близки автору «Власти земли».

Достоевский серьезно задумывался над особым значением земли в жизни человека (и не одного только русского), над сакраментальной зависимостью как экономического, так и нравственного устройства человека от форм владения землей, от отношения к земле. В первую очередь мы имеем в виду «Дневник писателя» (1876, 1877), те страницы «Братьев Карамазовых», где исповедуется Дмитрий Карамазов (само имя его символизирует связь

¹⁴ Г. И. Успенский в русской критике. М., Гослитиздат, 1961, с. 349.

с землей, возделывать которую он собирается) и отчасти тему богородицы в творчестве Достоевского (особенно пророчества-причитания Хромоножки в «Бесах»).

В «Земле и детях» («Дневник писателя» за 1876 г.) парадоксалист-двойник Достоевского излагает давнишние дорогие мысли писателя: «Если я вижу где зерно и идею будущего — так это у нас, в России. . . у нас есть и по сих пор уцелел в народе один принцип и именно тот, что земля для него все, что он все выводит из земли и от земли, и это даже в огромном еще большинстве. Но главное в том, что это-то и есть нормальный закон человеческий. В земле, в почве есть нечто сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей наделать людей, то наделите их землю — и достигните цели. По крайней мере, у нас земля и община. По-моему, порядок в земле и из земли, и это везде, во всем человечестве» (XI, 377).

Мысли «парадоксалиста» развивает Достоевский и в очерке «Прежние земледельцы — будущие дипломаты»: «. . . и порядок, и законы, и нравственность, и даже самый ум наций, и всё, наконец, всякое правильное отправление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, но каков характер землевладения, таков и весь характер нации» (XII, 142—143).

Достоевский явно симпатизировал демократическому характеру, причем это не случайное или эпизодическое настроение; есть все основания говорить, что избавление и «спасение» писатель ждал снизу, от «серых зипунов», пока еще не владевших землей, но спаянных с ней нерасторжимой, «сакраментальной» связью. Наблюдая сложные процессы пореформенного развития русского общества, Достоевский не решался пророчествовать, объявить, в пользу какого класса сложится развитие, что не мешало ему лично сочувствовать демократическому разрешению злобы дня.

Достоевский и Успенский самостоятельно и разными дорогами пришли к «земным» выводам и законам: одинаковые условия жизни русского общества привели их во многом к близким, но, конечно, не идентичным результатам. Повторим, однако, что одним из существенных стимулов, побудивших Успенского вплотную заняться тайнами и законами народной жизни явилась Пушкинская речь с ее призывом потрудиться на родной ниве: вот Успенский и попытался предварительно разобраться и определить конкретные и реальные особенности этой нивы.

Достоевский перед собой таких задач не ставил. Его позиция — позиция олимпийца, прорицателя; оставляя в стороне частности и нюансы, он выделяет пророческое, провиденциальное значение земли, не принижая материальных и экономических

факторов, но все-таки явно больше упирая на высшие, духовные первопричины. В его романах земля, почва — понятия идеологические, «поэтические», мифологические: это гимн земле в высокой шиллеровской тональности (Митя Карамазов), плач или песнь о земле и грустной экзотической красоте мира (Хромоможка). Публицистические высказывания Достоевского о земле, землевладельцах и земледельцах ближе соприкасаются с концепцией и выводами Успенского. Соприкасаются, но не совпадают уже по одному тому, что различны по своей природе: у Достоевского — пророческое, учительское направление; у Успенского — художественно-научный, детальный анализ микроскопических и неприметных явлений и фактов. Если бы Успенский и был знаком с этими мыслями Достоевского, то вряд ли бы удовлетворился ими всецело: непременно выделил бы в первую очередь слово «сакраментальное» и постарался доказать, что ничего подобного нет, а есть обыкновенная земля и естественные, близкие к природным, нравственные, экономические и прочие отношения людей; наконец, нашел бы слова Достоевского слишком общими, требующими хоть каких-то конкретных доказательств.

Чрезвычайно, однако, примечателен общий ход рассуждений у Достоевского и Успенского. Они оба стараются избежать узконациональной ограниченности, распространяют свои тезисы до общечеловеческих, мировых законов. Но, отметив общие законы и всемирные тенденции, тут же переходят к русской злобе дня, утверждая, что именно в России имеется все для установления гармонических отношений. В этом обстоятельстве видит Успенский русское счастье: «В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненна и особенно пленительна та *правда* (не *справедливость*), которую освещена в ней самая ничтожнейшая подробность. ... Лжи, в смысле выдумки, хитрости, здесь нет, — не перехитрить ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а, стало быть, нет ее и во всем жизненном обиходе. В этом отсутствии лжи, проникающем собою все, даже, по-видимому жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье и есть основание той веры в себя, о которой говорит Герцен. У нас миллионные массы народа живут, не зная лжи в своих взаимных отношениях, — вот на чем держится наша вера» (VIII, 82—83). А в «сословном» и личном смысле — это основание для веры в то, что наконец-то будут разорваны терзающие русского интеллигентного человека «узы неправды».

Но если с землей, как первоосновой всего, дело обстояло относительно благополучно, во всяком случае был ясен основной закон, главная зависимость и нравственно-жизненный центр человечества, то с особым русским путем, русским разрешением злобы дня, было далеко не так ясно. Они остро чувствовали уязвимость иллюзий, неумолимую и тяжелую поступь истории, которая явно не собиралась считаться с их утопиями и надеждами. Та крестья-

янская организация, которую они поставили выше всевозможных западных институтов, — община — находилась в крайне плачевном состоянии; об этом говорило все («только разверните газету»), и пройти мимо очевидных фактов было невозможно честному художнику и публицисту. Широко известен анализ состояния пореформенной крестьянской общины в очерках Успенского: он был замечен и народнической критикой, встретившей враждебно горькие суждения писателя, и марксистской, поставившей в высшую заслугу Успенскому трезвый, глубокий, научный взгляд на экономическое и социальное положение крестьянства. Успенский более, чем кто-либо, способствовал разрушению старинного мифа о крестьянской общине, получившей новую жизнь в народнической идеологии, и это тем более ценно, что ведь и свои собственные позитивные предложения и программы он чаще всего связывал с тем же мифом.

Суждения Достоевского в данном пункте менее характерны и менее известны. Однако у него также не счесть тревог, колебаний и опасений, смятенно врывающихся в романы-трагедии и публицистику. Они резко ощутимы и в 1873 г. («Мечты и грезы», «По поводу новой драмы», «Пожар в селе Измайлове», «Стена на стену»), где трезвый взгляд на разлагающиеся вековые устои крестьянского мира соседствует с иллюзиями и утешительными риторическими формулами. И позже — вплоть до январского выпуска «Дневника писателя» за 1881 г. — Достоевский писал в 1873 г.: «Прежний мир, прежний порядок — очень худой, но все же порядок — отошел безвозвратно. И, странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и усложнились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось. ... Тут все переходное, все шатающееся и — увы — даже и не намекающее на лучшее будущее» (XI, 99).

Тревожным предчувствием будущих потрясений пронизана его публицистика; он робеет, пророчествуя, и не исключает возможности самых неожиданных и печальных исходов: «Мир все-таки по-прежнему загадка, несмотря на цивилизацию и ее приобретения. Бог знает, чем чреват еще мир и что может дальше случиться, даже и в ближайшем будущем», «цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть, но явись лишь новая мода, и тотчас же множество людей изменилось бы» (XII, 45, 46). Что же касается предмета упования для многих — общины, то и тут Достоевский сомневается в жизнеспособности и жизнестойкости этой народной организации: «Но ... вопрос об общине разве из решенных у нас окончательно? Разве пятнадцать лет назад он не вошел у нас тоже в новый фазис, как и все остальное?» (XII, 142).

Главная, ведущая тема русской литературы 70—80-х годов — тема крушения старого, крепостнического порядка, развала прежних отношений, разорения, химического разложения общества, вступившего в новый, «буржуазный» фазис всеобщего обособления и уединения. Закономерно, что Достоевский и Успенский, писатели, остро ощущавшие и изображавшие современное плачевное состояние русского мира, неумоимо искавшие решение русской злобы дня, восприняли как гениальное художественное обобщение новый роман Толстого «Анна Каренина», ставшую для них фактом чрезвычайного, мирового значения. Они увидели в романе Толстого (Достоевский, правда, с некоторым удивлением) злобу дня, факты и картины очень им близкие, на осмысление которых в различных, разумеется, сферах, направлена была вся их творческая энергия.

У Г. Успенского есть очерк «Один на один», в котором мотив распада современного общества на отдельные, утратившие связи с целым, единицы разработан особенно детально. Очерк Успенского — отклик на дело Пищикова, обвиненного в том, что он засек нагайкой беременную на девятом месяце жену. Отталкиваясь от «заурядного» газетного факта, от одной из «обычных» и многочисленных семейных трагедий, Успенский поднимается до широких всеохватывающих обобщений, вскрывая суть новых общественных явлений, разрушительное воздействие современного буржуазного фазиса на уединенную, пребывающую в пустыне человеческую личность. И для того, чтобы прояснить смысл мотивов, толкнувших Пищикова на изуверские деяния, и шире — для того, чтобы выявить в ясных, осязаемых чертах ведущую тенденцию времени (точнее «безвременья»), духовный распад общества, Успенский прибегает к «механической» аллегории. Эмблема времени по Успенскому — машина, работающая вхолостую; колесики, винты, поршни, крючки, мучительно вращающиеся бесплодно и зазря, лишённые связующего их приводного ремня. Так и Пищикова — «одинокое колесико, без усталости вертящееся на оси своего личного интереса» (IX, 426).

К преступлению Пищикова присоединяет Успенский совсем, казалось бы, противоположный случай, происшедший с сельским учителем (тоже газетный факт), покончившим самоубийством: и учитель — «вертящееся фабричное колесико» — иззяб и издрог в холодном погребе, отъединенный от других, измучившийся и отчаявшийся человек. Уединенный «поэтик», уединенный беллетрист, уединенный Пищикова, уединенный учитель, уединенный автор очерка — а в результате картина повсеместного эпидемического одиночества и обособления, ставшего привычным и даже кажущегося естественным, если бы не участвовавшие случаи само-

убийств и преступлений, сигнализирующих о глубокой и серьезной болезни общества.

Стадное, безликое существование людей, скуку и удивительную «простоту» новых отношений, однообразие и монотонность современных сборищ рисует Г. Успенский в очерке «Хороший русский тип». Часы остановились и наступила полночь, свершилось падение души, страшно понизился нравственный уровень русского общества (да и всего человечества) — вот еще одна, найденная Успенским, эмблема безвременья: «Это именно — падение души. Душа остановилась, не действует, точно как часы остановились и стоят. Они могли идти неверно, врать ... но теперь они стали и стоят на одном месте, не двигается стрелка ... неизменно и днем, и ночью, и во все часы стоит на одном месте: полночь!» (IX, 183—184).

Картина (образ) современного состояния мира в публицистике и художественных произведениях Достоевского близка к наблюдениям Г. Успенского. Конечно, это объясняется в первую очередь одинаковым жизненным материалом. Однако сходство наблюдений писателей над процессами русской жизни 70—80-х годов настолько значительно, что позволяет сделать и более решительные выводы. Достоевский и Г. Успенский подчеркнуто подходят к проблемам действительности прежде всего с этической точки зрения: их печалит и тревожит нравственное уродство общества, утрата нравственного центра, понижение человеческого уровня, болезнь духа, всеобщее равнодушие и обособление. Преступления, самоубийства, факты дикого произвола и уродливые патологические поступки и привлекают их внимание как крайнее, но и, к сожалению, естественное следствие стадности и пустоты химически разлагающегося общества. Обособление и уединение «теперешнего» человека, идея разложения в центре внимания Достоевского-публициста («Дневник писателя» за 1876 и 1877 годы) и художника; он так выразил основную идею «Подростка» в записных книжках: «Главное. Во всем идея разложения, ибо все *врозь* и никаких не остается связей не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Даже дети *врозь*».

*«Разложение — главная видимая мысль романа».*¹⁵ В «Дневнике писателя» за 1876 год, изобилующем откликами на судебные процессы и эпидемию самоубийств, в специальной главке «Обособление» Достоевский вновь характеризует разброд и хаос современной минуты: «Право, мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего „обособления“. ... У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж

¹⁵ Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». М., «Наука», 1965, с. 69 (Лит. наследство, т. 77).

на единицы» (XI, 222). И чтобы яснее выразить сущность нынешнего состояния мира, Достоевский прибегает к старой аллегории: «...наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучок разлетится на множество чрезвычайно слабых былинки, которые разнесет первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался» (XI, 225).

Правда, здесь Достоевский говорит об одних лишь интеллигентах, но немало у него страниц, описывающих разброд и шатание в других слоях общества: Власы-нигилисты, кулаки, мироеды, «новый» купец, новые модные секты — признаки, по Достоевскому, обособления, затронувшего отнюдь не одну только интеллигенцию. В том же «Дневнике писателя» Достоевский пишет о поразившем его бессмысленном и зверском преступлении, совершенном совсем еще молоденьким извозчиком, пытавшимся перочинным ножиком зарезать старуху; примечательно, что Достоевский, как и Г. Успенский, анализируя мотивы, водившие рукой несовершеннолетнего убийцы, обращается к «машинному» сравнению: «Его захватило и затащило, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; — даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножиком» (XI, 172). Во многом аналогичный случай послужил Г. Успенскому сюжетом для очерка «Не случись», с героем которого Иваном Горюновым, как и с юным убийцей-извозчиком, все может стрястись, они оба — щепки, подхваченные грязным и мутным потоком времени, не вольные в своих поступках и не имеющие ничего своего, никаких идеалов, никаких осознанных стремлений. Успенский, вскрывая социально-психологическую подноготную преступлений Горюнова, вновь возвращается к мотиву падения души и незащитности утратившего нравственный центр человека: «Это совершенно пустой сосуд, который может быть наполнен чем угодно ... пред вами человек, внутренний мир которого, как траву, как тонкую ветку, колеблет внешнее дуновение, движение чуждых ему, со стороны идущих, влияний...» (VIII, 459).

Основные причины обособления, уединения, разложения общества Ф. Достоевский и Г. Успенский видели в одном: наступлении чумазого, буржуя, золотого мешка, «материального разврата»; общей у них была и тяга к гармонии и резкое неприятие современного хаотического и неопределенного периода, о котором близкий им по темам и тональности творчества Некрасов сказал презрительно и гневно: «Бывали хуже времена, но не было подлей». И больше всего их тяготила духовная «эрозия», моральный упадок общества, атмосфера равнодушия и разочарования. Но если Достоевский считал, что преступления в первую очередь вызваны утратой веры, религиозными шатаниями, нигилистиче-

скими веяниями, проникающими в народ, то Успенский видел в таких же печальных фактах — результат отрыва от земли, нарушения веками складывавшегося строя жизни.

Общее не может заслонить серьезных различий и в отдельных оттенках и в весьма существенных вопросах. Для Достоевского и Успенского, в совершенно одинаковой мере обособление — фабрикант, мироед, уединенный беллетрист типа Авсеенко, адвокат, подпевающий современному биржевику; характерен для них и общий мотив «разоренья» и крушения прежнего порядка, старинных устоев; слово, сказанное самим народом о себе — «ослабели», точно выразившее злобу дня, подхвачено Достоевским и Успенским и развито в целом ряде очерков и фельетонов 70-х годов.

Но Достоевский считает обособлением восьмую часть «Анны Карениной», «западнические» филиппики Потугина—Тургенева и многое другое, к чему Успенский по самым, порой различным причинам относился часто не просто иначе, а прямо-таки противоположным образом. Сказывались и «лагерные» расхождения (при всей сложности и особости позиций как Достоевского, так и Успенского), и очень неодинаковое понимание христианства и православия, и разные жизненные и литературные школы. Объяснимы и понятны отличия, почти всецело идеологического характера: Г. Успенскому глубоко чужды были православно-охранительные нотки в творчестве Достоевского: мессианизм политических статей по Восточному вопросу, отстаиваемый в некоторых фельетонах «Дневника писателя» союз монарха и народа. Естественно поэтому, что нередко то, в чем Достоевский видел обособление, опасные признаки отъединения, представлялось Успенскому плодотворным — многообещающим. Так, новые религиозные секты (штунда, редстокисты) Достоевский воспринял как очередные признаки обособления и забил тревогу; Успенский же увидел в них нечто отрадное, заключающее стремление к иным, более справедливым, «божеским» формам жизни. И нынешних потомков русских скитальцев-революционеров 70-х годов, ведущих, по Достоевскому, свой род от Алеко, Онегина, Печорина и Рудина, писатель причисляет к обособившимся, оторвавшимся от почвы (нивы) индивидуалистам. Конечно, отношение бывшего петрашевца к народникам сложное и противоречивое, искренняя симпатия к ним уживается у Достоевского с осуждением и язвительной критикой; но все-таки их движение, их путь — уклонение, хотя бы и страдальческое, честное, даже героическое; не отказывая им в высокой жертвенности и благородстве порывов, Достоевский отрицает жизненность и справедливость революционной деятельности, советует возвратиться на родную ниву, поработать там, смилив интеллигентно-скитальческую гордыню. Успенский же связывает с революционерами-народниками свои заветные идеалы; они, по Успенскому, носители красоты, гармо-

нии, благообразия, Венера Милосская и Вера Фигнер стоят на одной непрерывающейся линии развития человечества; они — надежда и благословение, светлое, выпрямляющее явление. Скульптуры Достоевского, великим «прототипом» которым послужил Герцен, тоскующие по всемирному счастью, хранящие великую, неувядающую мысль и образ красоты, своего рода представители духовной элиты — дисгармоничны и даже раздвоены, продукт 200-летнего периода обособления интеллигенции от народа; скульптуры несут бремя старых ошибок и заблуждений, ничего в сущности не принося нового.

Не могли не видеть Достоевский и Успенский грозных признаков надвигающейся бури, крестьянской революции. Видели и всю тщетность попыток предотвратить бурю. Вместо неоднократно провозглашаемого Достоевским слияния сословий, якобы начинающегося, но чаще всего грядущего, происходило совсем обратное, что и вынужден был он признать: «А между тем, море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга» (XII, 432). А следовательно, идея слияния и братства не только не приближалась с годами к воплощению, но, напротив, отдалялась, становилась все более утопической и невероятной. Перспективы развития представлялись безотрадными и кровавыми: будущий же бунт означал, по Достоевскому, крах надежд и утопий, «мирных» способов решения своей злобы дня; более того, сулил страшную братоубийственную войну — исполнение библейских пророчеств.

Успенский, находясь у самых корней крестьянской жизни, ощущал дыхание начинающейся бури особенно остро. И отнюдь нельзя сказать, чтобы он ее звал, — отчаявшийся мужик, начинающий уже рубить запутанный узел веками копившихся противоречий русской жизни «своими средствами», его пугал: он ясно видел многочисленные симптомы новой пугачевщины. Во «Власти земли» не без затаенного ужаса пророчествует Успенский, вглядываясь в фигуру Гаврилы Волкова: «Дай он волю тому, что у него скрыто в глубине души, — и это скрытое немедленно олицетворится в виде могучего, ожесточенного и беспощадного верзила с огромной дубинкой, поднятой надо всем светом без разбора» (VIII, 104). Верзило превращается в его творчестве в зловещий и внушающий противоречивые чувства символ: «„Верзило“ — в том виде, какой обнаружил он вчера, — представился мне в виде какой-то центральной фигуры, вокруг которой кипит все это безобразие» (IX, 81). И «превосходные черты», привычно отмечаемые Успенским в личности крестьянина, резко и властно дополняются скептическими «но»: «Но при старании из него можно сделать и зверя, и труса, и ничтожество, и предательство, и подхалимство, словом, можно сделать много гнусного...» (IX, 81).

Верзиле Успенского частично эквивалентен созерцатель из «Братьев Карамазовых», навеянный картиной Крамского. Верзило Успенского и созерцатель Достоевского — фигуры символические, возвращенные общей почвой, — и одинаково страшны им эти созерцающие и затаившие ненависть Власы. Еще обостренней становилась жажда паллиативов, гармонии, благообразия. Но поиски благообразия вели все в ту же народную среду, где уже тянулись к дубине верзплы с сухим блеском в глазах и копили впечатления созерцатели.

Утешительные мысли Достоевского почти неизменны: «Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а потому, чем желал бы стать»; «Я очень склонен уверовать, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут» (XI, 184, 186).

В народной среде и Достоевскому видятся признаки гармонии и благообразия. Носителем благообразия (облик, идея, жизнь) выводит он в «Подростке» странника из народа Макара Долгорукого.

Успенского по многим причинам глубоко лично задел этот роман Достоевского. Он упрекнул, в частности, писателя за пристрастие к дворянству и противопоставил свою точку зрения на источник благообразия в России: «Ржаное поле, *обязав* человека известными свойствами труда, приказывает ему устроить на основании своих свойств и свойств этого труда свой семейный и общественный быт, свои семейственные и общественные отношения. Вопреки уверениям г. Достоевского, который в одном из своих романов сказал, что „благообразие“ вообще встречается на Руси в привилегированном сословии. Я думаю как раз наоборот: оно все целиком сосредоточено в нашем крестьянстве ... не забывай, что интеллигенцию я исключаю...» (VIII, 569). Полемическая реплика Успенского относится к письму учителя и наставника Аркадия Долгорукого Николая Семеновича — послесловию «Подростка». И, видимо, особенно Успенский имеет в виду следующее место: «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя» (VIII, 474). Успенский односторонне истолковал точку зрения Достоевского. Несправедливо уже само по себе утверждение, что Достоевский находил благообразие в одном дворянском сословии. Достоевский находил лишь «формальное» благообразие и то в поколении дворян, давно уже ушедшем, к которому, видимо, и относятся мысли о долге, чести, красоте, выработанности форм, видимости порядка и стройности. С другой стороны, совершенно очевидны идеологические функции Макара

Долгорукого. Достоевский, действительно, далек от мысли, что благообразны среда, выделяющая Макаров Долгоруких, и мир, в котором они странствуют. Благообразны единицы, поднявшиеся над уровнем среды (любой): они-то и представляют, по Достоевскому, ту «тысячу», то особое дворянство, не по сословным признакам, а по духовному уровню. Достоевский признавал и любил в назидание неверующим повторять, что в русском народе сохранились выработанные столетиями высокие идеалы, но никогда, пожалуй, даже и не приближался к мысли о благообразии форм жизни крестьянского мира.

Г. Успенский с редким упорством, опираясь на самые различные факты и наблюдения, настаивал на огромных преимуществах крестьянского строя жизни в сравнении со всеми другими корпорациями и институтами. Здесь нет «прорехи», нет «свободного» времени, нет рефлексии, гложущей интеллигентного человека. Даже темные крестьянские случаи и обычаи (снохачество) выглядят у Успенского «привлекательней» грязных фактов в жизни высшего сословия (мышинный жеребчик).

В чрезвычайно важных для понимания сложности и противоречивости концепции власти земли очерках «Из разговоров с приятелями» Успенский, развивая мысль о благообразии жизни крестьянина, останавливается подробно и на уязвимых местах этого созданного природой, ржаным полем, так сказать, естественного, а не выстраданного человеческой мыслью благообразия; и вследствие неосознанности непрочного, так как «источник красоты находится не в сознании человека, а вне его, в поле, в колосьях ржи...» Отсюда и личное неприятие фатализма крестьянского существования, воспитанного веками истории и вечной зависимостью от требований природы. «Тут все только констатируют ... *должон* теперича по миру пойтить...», «теперчи ен бы уж помирать *должон*...» (VIII, 184).

Великолепно отлаженный природой, властью земли гармоничный организм народной жизни представляется Успенскому высшим достижением человечества; но это гармония, к которой не имеет отношения анализирующая работа мысли — естественная, стихийно сложившаяся, и потому непрочная, легко уязвимая: сломай один винтик в машине, вынь одно колесико — и процесс крушения, разложения неминуем. То есть та гармоничная жизнь, о которой так подробно рассказывает Успенский, может оставаться гармоничной лишь при неизменных, «идеальных» условиях, малейшее дуновение времени, новая мода, изменения в экономической структуре — и благообразие превращается в чистейшее безобразие, хаос, «материальный разврат». В очерках «Из разговоров с приятелями» два собеседника последовательно меняют точку зрения на современную деревню, шарахаясь от розово-восторженных к отчаянно-мрачным, пессимистическим выводам. Успенский сводит в синтез несовместимое, определяя один

общий источник идиллических и изуверских картинок, общую природу, и, не ограничиваясь выводами, намечает вехи для ближайшей деятельности, первоочередных исследований: «Нам нужно найти границу, где чистосердечное благообразие переходит в чистосердечное же неблагообразие» (VIII, 164).

Западная действительность, конечно, казарма, и западные перспективы кажутся Успенскому весьма безотрадными, его пророчества тут почти всецело совпадают с мыслями Достоевского: «Все они неизбежно должны погибнуть, *должны*, понимаешь ли? *должны погибнуть!* потому что сию минуту они даже не могут приблизительно очертить того „будущего“, к которому идут. Перед ними тьма» (VIII, 142).

Но после этих очень обычных прорицаний и изложения русских преимуществ перед западноевропейской казармой и скукой Успенский вынужден признать, что рисуемый им русский идеал или уже в прошлом, или сохранился лишь как счастливое исключение где-то в настоящем, но не существует никакой гарантии, что и эти немногие отрадные явления благодаря своей уязвимой «галочной» природе не будут поглощены фазисом. И в результате такое маленькое нововведение в Европе, как мизерный отдельный столик, кажется ему значительным, поскольку появлению столика предшествовала интенсивная работа человеческой мысли: «В глубине всех этих мизерных опытов важна именно мысль о полной независимости человека. ... Мысль эта, развиваясь и укрепляясь, будет осуществляться практически, и все, что будет добыто ею, будет вековечно и прочно» (VIII, 175—176).

Русский путь уже не представляется Успенскому ясным и особым, он все чаще противопоставляет русскому безобразию различного рода, по его мнению, благие и мудрые дела и речи на Западе. Судьба Мишанек, верзил все чаще видится в мрачном свете, и пугает нашествие будущих саврасов, оторвавшихся от земли-хранительницы и кормилицы: «Одно количество „саврасов будущего“ должно уже поразить своими громадными размерами, так как этот новый контингент олухов обещает выйти не из таких сравнительно немногочисленных слоев общества, как купечество, чиновничество и т. д., а из миллионной массы народа» (VII, 427).

И становится понятным, почему Влас Некрасова (сам по себе и в интерпретации Достоевского) Успенского не удовлетворяет, а призыв обратиться в Власов он просто высмеивает. Мотив (тема) Власа не исчезает в творчестве Успенского, а полемически переосмысленный, трансформируется в мотив русского интеллигентного, святого человека всех сословий — общественного деятеля и работника. Впрочем, тут дело далеко не в одном только Власе. В «Крестьянине и крестьянском труде» Успенский, объединяя в одном ряду мотивы и образы Пушкина, Гоголя, Григоровича, Тургенева, Тютчева, Никитина, Толстого, Некрасова, Достоевского, выступает от имени всего высшего сословия,

вбирает огромный опыт, накопленный русской литературой, русской художественной мыслью, — и отвергает все это, как самообман, самоутешение, риторику: «Этого нищего я начинаю воспевать не как собственный укор, а как идеал всего, что есть наилучшего на белом свете. Я сравниваю его со Христом, который в рабском виде исходил всю землю нашу; мил мне этот босой, исхудалый, истощалый человек, мил этот ворот, разодранный у рубашки, эти заплатки, эта крайняя бедность, у которой ни кола, ни двора, ни куриного пера, и которого кончина — в овраге близ большой дороги или в лесу» (VIII, 100).

Успенскому гораздо ближе и созвучней поэзия Кольцова. А из всей «дворянской» литературы о народе он особо выделяет Герцена и Толстого. Задумываясь над многообразием народных характеров, Успенский пристально вчитывается в герценовские слова, причем, цитирует по известной и высоко ценимой Достоевским работе Страхова. Каратаев более всего дорог Успенскому как подтверждение его рассуждений о связи человека с природой, о власти земли. Беря «готовое», уже великолепно изображенное русской литературой и зарегистрированное русской критикой, Успенский вовсе не повторяется: и тут мы имеем в виду не одну только необычность, дерзость интерпретации, а нечто большее — писатель выдвигает иное понимание, устанавливает неразрывную связь двух противоположных типов русского человека, обращает внимание на сложное диалектическое их единство, осмысляет и подчеркивает взаимонеобходимость, взаимообусловленность обоих типов. Успенский берет «каратаевский» мотив у Толстого и распространяет каратаевские черты на многомиллионную массу крестьянства, расширяет исторические и сословные рамки: «Все это черты чисто *наши*, родные, российские — черты той страны, где десятки миллионов ежедневно слушают мать-природу, в которой, как и в них, нет исключительной любви, нет смысла в отдельном существовании камня, дерева, ручья...» (VIII, 119—120).

Успенский переосмысляет и решительно видоизменяет прежние «чужие» слова о русском народе в согласии со своей теорией «человек и природа» (уже — «человек и ржаное поле»). Цель Успенского не повторение прошлого, а продвижение вперед: «И эти главнейшие черты, общие всему русскому обществу, мы укажем тоже грубо и в обрыв, иначе опять будет трудно выбраться на дорогу» (VIII, 118). Живой, необъятный, многоликий человеческий материал, питая схемы, в то же время с большим трудом поддается схематизации, мешает «прямой» дороге публицистической мысли. Поэтому, поминутно обращаясь к подробностям, приводя различные конкретные эпизоды, случаи, анекдоты, Успенский затем вынужден «сужать» мысль, обрубать иные детали, схематизируя наблюдения, и тогда-то он и обращается к уже имеющимся схемам: «Вот почему мы и оставляем разработку подробностей нашей задачи до более благоприятного времени, а теперь, чтобы до-

сказать до конца нашу мысль, мы вынуждены сузить нашу задачу до ее первоначальных размеров» (VIII, 116). Результатом явилась видоизмененная и подвижная новая схема «кроткий—хищный»,¹⁶ отмеченная у писателя печатью безысходности и тоски.

3

Эту схему он рад бы, да не может пополнить необходимым третьим звеном — хорошим русским типом, святым, интеллигентным человеком (в творчестве Успенского это — синонимы), защитником кротких, борцом с хищными, просветителем и светоносцем, чья деятельность вносила правду в зоологические отношения людей и в очень древние времена и даже в совсем недавние. Успенский не находит в современности, где «все на стороне хищника», необходимейшей третьей фигуры. Так по крайней мере — во «Власти земли»; в других произведениях Успенский расскажет о многих невидимках и правдолюбцах нового времени, интеллигентных людях, его современниках, хранителях высшей человеческой науки, о правде и справедливости. К интеллигенции правды, разума, совести, ее бескорыстной и великой деятельности обращены мысли и надежды Успенского: это ей суждено разрешить проблему «кроткий—хищный». Вот почему он с такой радостью воспринял слова Достоевского в Пушкинской речи о всемирной и тяжелой миссии русского скитальца: «Как же было не приветствовать г. Достоевского, который в первый раз, в течение почти трех десятков лет, с глубочайшей искренностью решился сказать всем пострадавшим за эти трудные годы: „Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастьи других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия, есть предопределенная всей вашей природой задача, задача, лежащая в сокровеннейших свойствах вашей национальности“» (VI, 426).

Слова Достоевского о русском скитальце привлекли внимание Успенского самой постановкой вопроса, бескомпромиссностью этических требований. Успенский всегда был принципиальным противником теории малых дел, любого принижения нравственных критериев ради якобы диктуемых минутой экономических, практических шагов. Русский интеллигент — это человек, руководствующийся во всей своей деятельности всечеловеческими, высокими идеалами, скорбящей не о своем — чужом горе. Интеллигентный человек — «невольник искренности сердца, человек, в котором не может быть тени стремления смягчить, приладить к обстоятельствам, так сказать, образумить свою искренность, и потому, захваченный тою или другою идеей, он не может отказаться

¹⁶ Схема А. Григорьева—Н. Страхова, с которой Успенский знаком по критическим статьям последнего, как, впрочем, и Достоевский.

от последовательного ее развития до конца, хотя бы конец этот и была смерть, огромное личное горе и т. д.» (X, 48). Отвечая А. Ф. Саликовскому, Успенский курсивом выделяет «заячьи» слова, с возмущением пишет о пренебрежении автора нравственными нормами и обязанностями. Путанице, минимуму и практическим соображениям Саликовского Успенский противопоставляет свое понимание интеллигенции и ее миссии: «Я здесь не понимаю уж, что такое и *интеллигенция*. Оказывается, что и над ней висит кто-то, кто *требуется* от нее чего-то и не помогает. Я всегда понимал *интеллигентного человека* (такого *сословия* нет) именно как такого, который *сам обязан требовать перемен* в окружающем положении, так как он потому и *интеллигентный*, что окружающее положение составляет его личную печаль» (XIV, 295).

Успенский повторил Саликовскому то же самое, что ранее разъяснял Буренину, отвергая грубые нападки критики на статью «Пушкинский праздник»: «Я говорил не о том человечешке, который плячется по свету со своей личной обидой и за нее даже смеет проливать кровь, а о *страдальце*, который, на основании той же речи г. Достоевского, не может быть счастлив личным счастьем, который дешевле не помирится, как на всечеловеческом счастье; я говорил о человеке, страдающем не своей печалью, а всечеловеческой обидой; о человеке, для которого „своим“ горем, обидой стало чужое горе, чужая обида...» (VI, 587).¹⁷

В очерках «Из разговоров с приятелями» очередной герой-двойник Успенского следующим образом отзывается о сути героев Достоевского: «Все многочисленные герои его произведений трактуют исключительное свое Я, свой эгоизм, и что же, принял ли когда-нибудь этот эгоизм в его произведениях хотя какое-либо обличье симпатичности, какой-нибудь широты, какого-нибудь благообразия? ... Когда ты смотришь на этих самопожирующих эгоистов, ты не видишь вокруг них чужих интересов, точно весь свет вымер вокруг них, самоедствующих себя людей... Ничто не помогает... Ни обеспечение, ни весь огромный опыт, который лежит в европейской жизни, ни средства, ни всяческие иные возможности — ничто...» (VIII, 577).

Успенскому важно показать, как беспомощна личность, до какого отчаяния она доходит, полагаясь лишь на свои слабые силы и волнуясь лишь своими частными интересами. Он стара-

¹⁷ Г. Успенский еще раз вспомнит Пушкинскую речь Достоевского в очерке «В ожидании лучшего», полемизируя со статьями К. Леонтьева и В. Соловьева, представителей чуждого ему «налимьего» криволинейного направления. Не Достоевского и Толстого «защищает» Успенский в статье, а те «забытые слова» и идеалы, о которых они напоминали публике, вызвав раздражение К. Леонтьева: «Мне подумалось, что у нас и без того много жестокости сердца, бесчеловечия, словом, всякой гадости и подлости, чтобы за такие чуть-чуть слышащиеся голоса — о некоторой совестливости человеческих отношений — писать целые разгромляющие сочинения, обвинения в ереси и т. д.» (VIII, 531—532).

тельно и специально не замечает авторской позиции, замыслов Достоевского: «сужая» для своих публицистических целей творчество писателя, как бы отодвигая его от героев, вычленяет ему необходимое — некую общую объективную мысль, вывод. Успенскому нужно противопоставить зафиксированное в творчестве Достоевского «неблагообразие» его героев тому складу жизни, в котором он это благообразие находит. Так обстоит по крайней мере дело в очерках «Из разговоров с приятелями». Однако в других произведениях Успенский обнаруживает несомненный интерес к мукам и нравственным терзаниям клейменых им за неблагообразие эгоистов Достоевского. Во всяком случае мы располагаем ценнейшими признаниями самого Г. Успенского в набросках к неосуществленному замыслу: пятой главе цикла «Волей-неволей».

Когда были уже написаны четыре цикла, Успенскому совершенно случайно в одной рецензии встретились слова Зосимы из последнего романа Достоевского, прочитать который, как чисто-сердечно признается, он не пожелал.¹⁸ Слова эти настолько его поразили, что он их тут же старательно переписал: «Он говорил так же откровенно, как и вы, хотя и шутя, но скорбно шутя; я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем менее я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству и, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это *вдруг как-нибудь* потребовалось, а между тем двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чем знаю из опыта. Чуть он близко от меня, и вот уже его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже *лучшего человека* возненавидеть: одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавижу людей в частности, тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще» (VIII, 545. Курсив Г. Успенского). Успенский прочитал у Достоевского собственные мысли, но выраженные четче и яснее; его и привлекла больше всего обнаженность и резкость парадокса Достоевского: «Словом, в этом отрывке есть все те черты, все особенности русского сердца, на которых мне хотелось обратить внимание читателя» (VIII, 546).

Успенский, читавший Достоевского по большей части случайно и урывками, не заметил, что остановившее его внима-

¹⁸ «Самого романа, каюсь, я не читал и не имею поэтому никакого понятия о том, как именно — худо ли, хорошо ли — относится автор к лицу, сказавшему о себе самом вышеприведенные слова, — да в сущности мне и надобности в этом никакой нет» (VIII, 548).

ние место отнюдь не единичное в «Братьях Карамазовых»: «Помоему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был бог. Но мы-то не боги... Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда» (IX, 234—235). Ранее в «Кроткой» офицер-ростовщик тщетно пытается вспомнить, кому принадлежит неосуществимый для человека завет: «Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! „Люди, любите друг друга“ — кто это сказал? чей этот завет?» (XI, 475).

Ситуация «Кроткой» и завет Христа ведут к словам Достоевского, записанным у гроба его первой жены, М. Д. Исаевой: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует».¹⁹

К таким далеким этическим, философским, идеологическим и интимно-личным размышлениям Достоевского восходят слова Зосимы, поразившие Успенского. Заключительную главу цикла «Волей-неволей» Успенский не написал, но проблема сопряжения единичного, отдельного человеческого «я» с групповым, коллективным «мы» — основная в этом цикле. Тяпушкин — неприметная личность, терзаемая внутренними неурядицами, «человек неопределенного положения, неопределенного звания, человек случайных средств», продукт разных обстоятельств — исторических, сословных, семейных — суженный ими и скомканный, из тех, кому судьбой и историей на роду предписано «пропасть». Он запутался в бестолковщине, бессмыслице, бесвязице современной действительности; отчаялся разыскать «источник живой воды», найти руководящую нить. Тяпушкин понимает, вернее даже, всем существом осознает, что спасти его может только лично осознанный поворот к общему делу. Но подготовлена ли личность современного человека к такому повороту? И да, и нет — ответ Успенского. Да — так как ощутима жгучая потребность исхода. Нет — потому что эта потребность находится в разладе с непосредственными личными устремлениями человека. Для иллюстрации и подтверждения своих мыслей Успенский обращается к русской литературе: «...ни в жизни, ни в литературе я не знаю типа в нравственном складе которого, хотя бы даже в особой степени, была приметна какая-нибудь черта, говорящая о том, что тип не чужд уверенности в неизбежности для „личности“ человеческих каких-то прав» (VIII, 389). И в этом смысле равны лирический герой поэмы Некрасова «Рыцарь на час» («Уведи меня в стан погибающих») и Елена Инсарова («Кто отдался весь, весь, тому горя мало... тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу... то хочет!»).

¹⁹ Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради. 1860—1881 гг. М., «Наука», 1971, с. 173 (Лит. наследство, т. 83).

Те же свойства обнаруживает Г. Успенский и в Алеше Поповиче, на которого вдруг, как снег на голову, нагрянуло византийство: и здесь то же противоречие между личными устремлениями и общим делом, и здесь та же «механическая» потребность раствориться в «мы». И наконец, на одной линии с Тяпушкиным, героем «Рыцаря на час», Еленой Инсаровой и Алешей Поповичем оказывается Иван Грозный, личности и поступкам которого Успенский дает оригинальную «психологическую» трактовку: «Кстати сказать, что-то подобное свойствам моего сердца, вероятно, было в сердце такого замечательного человека, как Иван Грозный. Ведь вот пред толпой, пред массой людей, пред морем человеческих существ, слитых воедино, в особый живой организм толпы, этот человек мог публично, на Красной площади, каяться, плакать, просить у этого „организма“ прощения, оправдываться, чувствовать потребность оправдываться только перед ним... А отделись от этого организма толпы частица, песчинка, и объявись она в виде человеческой фигуры, с человеческими потребностями, просьбами, желаниями — словом, со всеми мелочами „человеческой“ породы, — тотчас замирает не только потребность покаяния, а и внимания, тотчас прекращается отзывчивость сердца на действительные, всегда мелкие человеческие требования».

Приведенные слова максимально близки к тому месту из «Братьев Карамазовых», что привлекло внимание Успенского. Но приблизившись, мысль Успенского тут же удаляется; следуя своим путем, писатель предлагает вынужденный ригористический и практический выход: «То, что называется у нас всечеловечеством и готовностью самопожертвования, вовсе не личное наше достоинство, а дело исторически для нас обязательное, и не подвиг, которым можно хвалиться, а величайший шаг облегчения от тяжелой для нас необходимости быть просто человеческими и самоуважающими... Добиваться своего личного благообразия, достоинства и совершенства нам трудно необыкновенно, да и поздно» (VIII, 419).

Таков итог и аскетический приговор, в котором без труда можно ощутить продолжение полемики с Достоевским, хотя, разумеется, и не только с ним.

Однако ригористическое решение подсказано не сердцем, а неумолимой логикой; личность же продолжает бунтовать, горько осознавая свое бессилие: «Я стремлюсь погибнуть во благо общей гармонии, общего будущего счастья и благоустройства, но стремлюсь потому, что лично я уничтожен всем ходом истории, выпавшей на долю мне, русскому человеку. Личность мою уничтожили и византийство, и татарщина, и петровщина: все это надвигалось на меня нежданно-негаданно, все говорило, что это нужно не для меня, а вообще для отечества, что мы вообще будем глупы и безобразны, если не догоним, не обгоним,

не перегоним... Все это, как говорят, еще только фундамент, основание, постройка здания, а жить мы еще и не пробовали; только что русский человек, отдохнув от одного улучшения, сядет трубочку покурить, глядь, другое улучшение валит неведомо откуда. Пихай трубочку в карман и полезай в кофейницу, если не удалось бежать в леса дремучие...» (VIII, 414—415).

Это запертый крик души, бунт против «фундамента» и «всемирства» (того, что — вообще, что требуется государством, службой), бунт бесперспективный, которым, как он прекрасно сознавал, жить невозможно. Оставался, казалось бы, только один, но механический выход — решение лично исчезнуть, спрятаться в толпу, за общее мнение, отправиться туда, «под гребенку»: «...хотелось исчезнуть в этом „мы“, пойти бы туда, потому что мне-то ничего не нужно; потому что я могу думать только о моем ничтожестве и ничего, кроме муки, не ощущать» (VIII, 392).

Но решение дилеммы «я» и «мы» (личное дело и общее) Успенский видит не в уничтожении «я», не в превращении «я» в безликое «мы». Необходим свободный выбор, сделанный разумом и сердцем, а не вынужденный, механический, по приказу, а для этого требуется коренная переработка и выработка личности (на «христианском» языке Достоевского: «Были бы братья, а братство будет»): «Это драма, из которой два выхода: жизнь и смерть; смерть может быть всякая, по выбору, а жизнь для нас только в одном — в *действительном* опыте переработки собственной личности практическим, свободным делом во имя общего, массового счастья» (VIII, 371—372).

В таком «свободном деле» и видел Г. Успенский свой закон «земного равновесия», придающий смысл человеческому существованию.

Успенский считал себя писателем другого склада, чем те, кого он относил к пушкинскому периоду русской литературы, занятым публицистической работой, творящим не романы и поэмы, а очерки, отрывки, наброски. Он отстаивал право на создание очерков о мужике, противопоставляя свой незаметный и неблагодарный труд произведениям первых писателей России. И понимал всю уникальность, необходимость своей очерковой работы, испытывал гордость первооткрывателя неизвестного полузабытого мира: «Конечно, я не велика птица, а человек черной, мелкой работы, но такая-то работа и трудна, а, как известно, верный в малом и во многом верен» (VIII, 374).

Успенский скорбел о теперешнем «фазисе» развития общества, мечтал о литературе будущего, предметом изображения которой будут уже не терзания больной совести, не трагедия неизлечимых и левоскресших. Ведущий скорбный мотив творчества Успен-

ского — боль за униженного, скомканного, опечаленного человека: «Во всем этом, то есть во всем, что только не видит ваш глаз, все одно унижение, все попрание в человеке человека. . . И страшно становилось за душевную участь теперешнего человека, за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души. . .» (X, 267).

Бесчисленные виды расстройства, безобразия и составили терзающий и омрачающий мысль и сердце «материал» для его очерков. Воспевать красоту и гармонию он не в состоянии; это дело великих художников будущего: «Великий поэт не откажется всходить на какую угодно высоту, до которой поднимались его современники. Он захватит в свою сеть все сокровища ума и души. В настоящее время, можно сказать, вечно женственный переходит в стоны и плач по человеку, а мужественный представляет или то, что грубо, или то, что жалко» (XII, 488—489).

Себя, очевидно, Успенский причислял к художникам вечно женственным. И даже не к художникам, а к публицистам: «Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавление, ведь и там сказано: „заметки“, „отрывки“... — какая же это словесность? Это просто черная работа литературы, а с словесностью, вероятно, надобно покуда повременить» (III, 79). Цитата из «Власти земли», одного из самых знаменитых произведений русской литературы; история распорядилась иначе с «отрывками» и «набросками» Успенского, поставив его очерки рядом с величайшими достижениями русской художественной мысли.

Нельзя не отметить близости суждений Успенского о современной и будущей русской литературе и известных слов Николая Семеновича из послесловия к «Подростку»: «Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства! . . .» (VIII, 476).

«Не желал бы я быть» Николая Семеновича означает, что ни о чем другом он писать не хочет, создание художественно законченных произведений о прошлом не его дело: позиция Достоевского — позиция художника, одержимого тоской по текущему, которого более всего волнует теперь на глазах творящая злоба дня; его роман — лишь материал для будущего художественного произведения; он же исследователь и живописатель формирующегося, типов, еще только зарождающихся, явлений, сущность которых представлялась загадкой, а последствия терялись в неопределенном будущем.

Достоевский, Г. Успенский, Толстой подметили, указали, определили и выразили чрезвычайно многое; каждый из них в своей сфере сказал «новое слово» о мире; с огромной художественной силой осветили они хаос безвременья. Разумеется, хаос и духовный кризис от этого не превратились в благообразие, а мечты и утопии — в действительность. И, конечно, в позитивных программах, теориях, пророчествах Толстого, Достоевского, Успенского часто сильны элементы реакционной утопии и не сосчитать

противоречий, которые им так и не удалось распутать. Мимо этих разительных контрастов не может пройти исследователь. И, конечно, он попытается их понять и объяснить. Но попытки распутывать противоречия путем лобового противопоставления публицистики и художественного творчества, теории и реалистического воспроизведения жизни методологически несостоятельны. Всецело отрицая выводы Г. Успенского-публициста и вообще теорию «власти земли», ученый тем самым неизбежно обедняет, обесценивает и Успенского-художника, так как обе эти стороны в творчестве писателя теснейшим образом связаны, даже слиты в единый научно-лирический сплав. Теория «власти земли» имеет, конечно, свои теневые стороны, но рассматривать ее только, как идеализацию архаических форм жизни и проповедь извечного фатализма, неверно. Выводы и заключения Успенского — плод долгого, самоотверженного, детального исследования земледельческого строя жизни; и пронизательность многих наблюдений писателя продолжает и до сих пор удивлять современных очеркистов. Вот к какому выводу приходит Е. Дорош, вчитываясь в «фатальные» слова Успенского: «Надо еще быть крестьянином, то есть человеком, в котором тысячелетняя власть над ним тоненькой зеленой травинкой, в свою очередь, как писал Г. Успенский, зависящей от каждой тучки, каждого солнечного луча, выработали не только рабочие навыки, но и характер, главенствующей чертой которого я бы назвал осмотрительность, расчетливость.

«Травинка зеленая кормит крестьянина!»²⁰

Совершенно прав Н. И. Пруцков, отмечая, что «Достоевский и Успенский были величайшими великомучениками земли русской, добывавшими веру и мечту свою ценою глубочайших заблуждений, страданий и сомнений».²¹

²⁰ Дорош Е. Иван Федосеевич уходит на пенсию. Деревенский дневник. 1961. — «Новый мир», 1969, № 2, с. 33.

²¹ Пруцков Н. И. Русская классическая литература и наша современность. Л., «Наука», 1965, с. 123.